



-АЛЕКСАНДР ПИРАЛОВ-

НЕАДЕКВАТ

Александр Пиралов

Неадекват

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28068882

Неадекват: Издательско-Торговый Дом «Скифия»; СПб.; 2017

ISBN 978-5-00025-000-0

Аннотация

Стечение обстоятельств, завязанных на ноктюрне Шопена и предвыборной интриге районного масштаба, оставляет за главным героем только один вариант развития событий: влюбить в себя пианистку, лауреата международного конкурса... В это время поселок, в котором он живет, начинает содрогаться от загадочных и пугающих событий...

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	12
3	21
4	30
5	35
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Александр Пиралов

Неадекват

© Пиралов А., 2017

© Издательство «Скифия», 2017

Часть первая

1

*Абсурд не в человеке и не в мире, но в их
совместном присутствии.
Альбер Камю*

На сей раз в ноты я даже не заглянул. Какая-то непонятная сила упорно отводила мои глаза, словно передо мной была не запись шедевра, а ложка касторки. Позже я пытался понять, почему мною была нарушена моя же собственная традиция, и ничего более убедительного публики в голову не лезло. Я никак не мог поверить, что среди электората мог оказаться тот, кто знает Шопена.

Через неделю это будет казаться мне садистской ухмылкой судьбы.

Но в тот вечер времени на рефлексии не оставалось. Человек из команды Красавцева и его зам по забою кур Петька Пряхин – такой же, кстати, проходимец, как и я – уже щедро лил елей по обтрепанному залу. Голос у Петьки был масляным, и он жонглировал им, подобно заправскому трюкачу, однако масло это казалось прогорклым, и оттого, наверное, от представления за версту несло фальшью.

– Нет, не зря, – сказав это, Петька почему-то поднял указательный палец, – не зря, дорогие мои, наш дорогой Исидор подарил каждой бабушке избирательного округа по козочке, дав понять, каким сердцем болеет он за развитие личных подворий в нашем регионе и за благополучие всех нас.

Ну, насчет сердца можно было бы и помолчать, потому как бессердечие «дорогого Исидора» давно опостылело даже курам на его птицефабрике, не говоря уже о бабушках, которые – надо отдать им справедливость – так дешево свои голоса не продавали.

Впрочем, Петькино словоблудие было мне глубоко безразлично, лишь бы мой интерес блюли, а это тысяч примерно под сорок, если «дорогой Исидор» наступит на горло собственной песне и не покусится. В отличие от бабушек я покупаюсь и иногда, признаюсь, дешево!

– Но не только хлебом единым живет наш дорогой кандидат, – продолжал Пряхин. – Он еще и большой любитель настоящего искусства, которому посвящает немало своего свободного времени, а оно, как вы понимаете, драгоценно.

Знаем мы, какому искусству посвящает свое драгоценное свободное время «наш дорогой кандидат» – злорадно подумал я, вспомнив о жалобах провизоров, что из-за него местные аптеки рискуют остаться без «Виагры». Что до злых языков, то они давно уже прозвали его «бабоукладчиком», имея в виду весь спектр значений этого слова, вплоть до коктейля, предназначенного для спаивания дам. Я не причисляю

себя к любителям распространять сплетни, особенно непроверенные, ибо наша компактная слободка – социум особый, но Красавцев – именно та персона, ради которой можно было бы и поступиться принципами.

– И вот сейчас, – распался куриный убивец, – с музыкальным приветом от нашего Исидора выступит его любимый пианист, которому он трепетно внимает в редкие минуты досуга... Мы приглашаем на сцену Афанасия Подхомотова, большого друга и сподвижника кандидата в депутаты.

Это было уже слишком. Кому-кому, а Петьке следовало бы знать, что к своему «любимому пианисту и сподвижнику» Исидор Степанович без «...твою мать» не обращается; что ж до моего участия в нынешней встрече, то это идея его не в меру ретивого «визажиста», посчитавшего почему-то, что откровение о любви к Шопену может хотя бы частично смягчить сердца электората, основу которого составляли все те же работники птицефабрики, отупевшие от хамства и матерщины генерального директора.

– В исполнении Афанасия прозвучит ноктюрн Шопена до минор. – Верный служка Пряхин гнусаво произнес неясные слова, но это прошло мимо внимания зала, возможно, посчитавшего «минор» чем-то вроде очередного сокращения от минеральных удобрений. – Эта возвышенная, исполненная глубокого философского смысла музыка, по словам нашего кандидата, насыщает его стремлением служить людям, решившим посвятить свою жизнь производству куриного мяса

и яиц. Просим, Афанасий, просим..!

«Совсем рехнулся, урод», – подумал я и направился к пианино, которые два молодца уже успели выкатить на середину сцены. Послышались два-три недоуменных хлопка, потом перешептывания и, наконец, хихиканье. Я галантно поклонился. Хихикнули снова.

К хихиканьям мне не привыкать, поскольку я, когда играю, строю разные лица. Многие из тех, кто мне внимает, думают, что это шутка, а коли так, то положено смеяться. Я отношусь к этому спокойно, поскольку считаю, что любая эмоция, рожденная музыкой, имеет право быть выпущенной, в том числе и такая.

Сев за обшарпанный «Красный Октябрь», я увидел, что несколько клавиш, ключевых для ноктюна, западают. Знаменитые октавы в левой руке было уже не сыграть. Правда, меня это не слишком смутило, ибо я давно решил проблему бездействующих клавиш, ухарски внося коррективы в оригиналы исполняемых мною классиков, справедливо полагая, что классики не обидятся, а слушатели не поймут. Сейчас я заменил октавы нотами, и вышло вполне ничего, если не считать двух фальшивых звуков, так как палец дважды сползал с частично отколотой черной клавиши. Внимали до неприличия тихо, к чему я тоже не очень привык.

Должен признаться, этот ноктюн я так до конца выучить не удосужился. Средняя часть в нем технически непростая, а самое главное, она отпугивает моих слушателей смятением

и эмоциональным накалом, а наводит на электорат тревогу великой музыкой – дело не самое безопасное, ибо Исидор мог бы и полюбопытствовать, а что бы я хотел всем этим сказать.

Так что вместо непосильного для меня фрагмента я присобачил среднюю часть ноктюна ля бемоль мажор, гораздо более легкую, а главное трогающую сердца изнывающих по любви дам, что для меня особенно важно, ибо играю я главным образом для них. Эффект стопроцентный.

И сейчас я, почти не снимая ноги с педали, подобно заправскому таперу колотил именно эту «версию» и почти физически ощущал недоумение зала, который ждал от Красавцева чего угодно, но только не Шопена; о том, что ее дурят, публика, конечно, не догадывалась. Я играл это попури десятки раз в разных компаниях, и никому даже в голову не приходило, что его обманывают. Слова «мистификация» – возможно, оно могло показаться кому-то более подходящим – я сознательно избегаю, потому как считаю, что мистификация должна быть непременно связано с чем-то высоким и духовным, а что может быть высокого и тем более духовного в обыкновенном жульничестве? После того, как был изображен последний звук, слышались два-три жидких хлопка, которые тут же заглушил призыв Пряхина:

– Поблагодарим же Афанасия, от всего сердца поблагодарим наш народный талант!

Сердце залахватило еще на несколько хилых хлопков, по-

сле чего из-за стола, покрытого пыльным, оставшимся еще с коммунистических времен кумачом, поднялся Исидор Красавцев и потопал к трибуне, а «народный талант» бросился сломя голову к выходу, дабы не слушать еще и чужое вранье. Хватало собственного.

Я уже был в дверях, когда кто-то осторожно похлопал меня по руке. Обернувшись, я увидел девочку лет двенадцати с решительным подбородком и похожим на поваленную пирамидку носиком, на котором нелепо болтались то ли пенсне, то ли очки, что усугубляло и без того довольно стервозное целое.

– Ты меня?

– Вас, дяденька Подхомутов, – ответила девочка на редкость противным голоском, то ли хриплым, то ли визжащим. – Вас...

– Что тебе, дитя мое?

– А я, дяденька, между прочим, в музыкальной школе учусь.

– Похвально...

– И знаю, что в этом ноктюрне совсем другая середина...

– Для ученицы музыкальной школы ты проявляешь поразительное невежество, – заметил я тем менторским тоном, который обычно использовал в беседах с моими слушателями. – Тебе, ребенок, следовало бы знать, что великий Шопен сочинил несколько вариантов этого ноктюрна. Я исполнял раннюю версию.

Это была, конечно, полная чушь, однако я пытался сразу же подавить нахалку безапелляционностью и строгим видом, что обычно действует, особенно на детей. Однако это дите сдаваться не собиралось.

– Боюсь, что поразительное невежество проявляете вы, дяденька. Ноктюрн сочинение 32 номер 2 ля бемоль мажор Шопен создал в 1837 году. А ноктюрн сочинение 48 номер 1 до минор, который вы, с позволения сказать, играли – в 1841. К тому времени ля бемоль мажорный ноктюрн был уже известен, поэтому Шопен никак не мог использовать его среднюю часть даже в версии более позднего произведения.

Сказав это, она принялась рассматривать меня с иезуитской ухмылкой...

Как-то тетка Валерия заметила, что если я и способен чего-то добиться, то только не в музыке. Сказано это было фирменным тоном знатока, который выработался у нее годами жизни с клеймом соломенной вдовы, когда приходилось чем-то компенсировать собственную ущербность. На это мать, считавшая, что если я и способен добиться чего-то, то только в музыке, парировала «завистницей», а та, в свою очередь, погрузилась в пространные рассуждения о блудницах, которые никак не могут понять, где их место, а потому бесстыдно лезут в интеллигенцию.

У Валерии был до предела раздолбанный рояль с дребезжащими басами и лопнувшими струнами, за который ни один настройщик города не соглашался браться, от чего музыка в раннем детстве воспринималась мною как сплошной деревянный лай. Играла в доме главным образом она, причем только божественные, по ее словам, миноры из бетховенских сонат (то, что существуют еще и божественные мажоры, ей и в голову не приходило). Муж лая не выдержал.

Валерия вообще производила впечатление человека, получившего по затылку всеми мешками с песком, которые были в распоряжении у нападавшего. Меня она называла почему-то «Тюключом», так и не объяснив, откуда это «Тюключ» взялся. Идиотское прозвище стало трагедией периода мое-

го музыкального ученичества, потому как она имела обыкновение высокомерно презентовать мне ноты с дарственной надписью «Тюключу от Вавули», что неизменно приводило в экстаз моих преподавателей. Кто эту «Вавулю» придумал, также никто толком не знал, хотя подозреваю, что это было делом папаши, имевшего склонность к бредовому словотворчеству.

К тому времени, когда вышла склока мамыши с Валерией, я уже успел окончить музыкальную семилетку с шаткой четверкой, клеимом «неперспективный» и настоящей рекомендацией не гоняться за миражами. Хотя, по правде сказать, гнался за миражами-то не я, а мать, которая палкой заставляла меня глумиться на все том же рояле над этюдами Черни и инвенциями Баха. Глумиться, как по заказу, выпадало именно в тот момент, когда Валерия лаялась божественными минорам, а поскольку она не соглашалась уступить мне «шкаф с посудой», как в доме называли рояль, я находился в состоянии едва ли не перманентного восприятия специализированной лексики, которую позднее успешно использовал, правда, уже в других целях.

Что касается папаши, то он, дабы избежать участия в семейных «хмехах» (это слово, означавшее космический катаклизм, он заимствовал у Станислава Лема и употреблял всякий раз, когда Валерия с матерью выходили на ристалище), уползал в свою нору. В ту пору она представляла собой пляжную косу Апшеронского полуострова, где родитель

пропадал до позднего вечера, а по возвращении сидел со своей другой сестрицей, Калерией (я втихомолку называл теток «Холериями»), и, исполненный буффонной поэзии, делился впечатлениями о море в лучах заходящего солнца. У Калерии была своя нора в виде огороженного забором участка земли за нашим домом, где она держала десятка два дворняг, для которых готовила на кухне разную зловонную мерзость. Когда занятия Калерии кулинарией совпадали с попытками Валерии покорить Парнас, то казалось, еще мгновение и разверзнутся нижние притворы ада.

Не берусь судить, почему Творцу пришло в голову создать всех троих такими оригиналами, и уж тем более разводить философии о его промыслах, но вот по части этой троицы замыслы Господни – если вообще таковые имелись – были реализованы на все сто. Когда собиралась эта компания, я чувствовал, что попал в клинику для душевно-больных. Говорили одновременно, причем только о своем и друг друга не слушая. Чтобы перекричать тетку Валерию, надо было вообще иметь силу голоса, равную, по меньшей мере, иерихонской трубе, правда, папаше иногда удавалось перехватить инициативу, но всякий раз он терпел сокрушительное поражение. И лишь Калерия, смиренно улыбаясь (ей нравилось иногда воплощаться в матушку из тихой обители), позволяла себе робкие реплики о прелестях готовки для «сиварей» (так на семейном воляпюке звались ее дворняги) на костре под покровом небес.

Одна из «сиварей», сука по кличке Клеопатра, жила в нашей квартире и служила посредницей между сестрами, не разговаривавшими друг с дружкой годами. «Клеопатра, – обращалась тетка Валерия к тетке Калерии, – скажи ей не разводить такую вонь на кухне». «Клеопатра, – отвечала тетка Калерия тетке Валерии, – скажи ей, что от ее музыки вони гораздо больше».

Наблюдая за извращениями нашей семейки в коммуникационной сфере, я уразумел в один прекрасный день, какие широкие возможности они предоставляют, если к опыту Холерий подойти творчески, пока не открыл наконец собственный способ общения, который назвал «выкамариванием». Под этим я понимал устройство разных безобразий, главным образом музыкальных, вызывавших иллюзию общения с непризнанным гением у тех, кто по-гусарски относился к Эвтерпе.

Позже я начал понимать, что «выкамаривания» были чем-то вроде реакции моей психики на «прелести» нашей семейки, своего рода антидот.

В семейных ризах я вообще чувствовал себя глубоко ущемленным и уязвленным, поскольку не мог пригласить к себе товарищей, ибо боялся, что они не выдержат запаха собачьих разносолов и могут услышать матерщину тетки Калерии (несмотря на свою показную святость, она ругалась, как пьяный водопроводчик); не мог пообщаться с отцом, зная, что за этим вместо здравых слов услышу набор разных чуда-

честв, которые в дальнейшем отбивали всякое желание советоваться с ним; не мог даже поговорить с теткой Валерией о Бетховене, потому как знал, что последует высокомерный ответ по части того, что есть свиное рыло и есть калашный ряд, при этом мне красноречиво давали понять, кто есть свиное рыло и где именно искать тот самый ряд. Она была уверена, что если в семье и будет пианист, то только ее сын Полиэкт (в конце концов удравший от этого на Крайний Север), и была бесконечно удручена, что дальше сборника для начинающих он так и не пошел. Мысли о том, что способного музыканта в семье может родить кто-то другой, и уж тем более эта, как она называла мою мать, «безродная Мессалина», она не допускала вовсе.

В ту пору я был слишком юн, чтобы всерьез размышлять о силах добра и зла, но о ком-то очень коварном, кто поставил клеймо на всех нас, все-таки думал. И о том, что первой его жертвой стал я, тоже. Тут, конечно, со мной можно было бы и поспорить, однако надо понимать, что в ту пору я дальше своего носа не видел, хотя и не уверен, что с той поры мое зрение по этой части приобрело большую остроту. А еще я не сомневался в том, что за клеймение должно быть воздано и что право на мщение должно быть главным образом у меня. Я не знал, кому воздавать, однако мысль о мщении постепенно становилось моей *idée fixe*. Позже я узнал, что еще в девятнадцатом веке немецкий психиатр Карл Вернике выделил *idée fixe* в отдельное психическое расстройство. Но

если мне тогда сказали бы, что у меня появились проблемы с психикой, то в лучшем случае я бы захохотал, а в худшем выделил бы такого человека в объект мести. Тем не менее в моей голове все увереннее срабатывал механизм порождения абсурда, порождаемый этими самыми *idee fixe*: желаемое не соответствовало получаемому, а это, в свою очередь, вело к поведенческой неадекватности.

Жизнь постепенно научила меня приспособливаться к обстоятельствам, а в ту пору я просто не вписывался в бытовые представления о мальчишках. Не умел драться, на уроках физкультуры был полным ничтожеством и в отличие от подавляющего большинства своих сверстников совершенно не знал, как вести себя с девчонками, хотя они интересовали меня, и даже очень. Они глядели на меня со снисходительной ухмылкой и называли «придурком». Учителя, видимо, эту точку зрения разделяли, хотя и старались не выражать ее слишком откровенно.

Правда, один раз они все-таки не выдержали. Это было после того, как я написал в сочинении, что считаю роман «Мать» самым слабым произведением Горького. Дело было еще в коммунистические времена и обернулось громоподобным скандалом. По итогам четверти мне поставили единицу по литературе, навесили ярлык «чуждого элемента» на комсомольском собрании и на две недели исключили из школы. По возвращении я был выставлен позорным столбом перед всем моим десятым «б», а классный руководитель, Ев-

гения Анатольевна, кондовая совковая педагогиня с железобетонными мозгами и острым, как выдержанный сыр, голосом потребовала, чтобы я не заражал своей дурью ни в чем не повинные души. Сами «души», как и обычно, когда касалось меня, сдержанно хихикали. Я молчал, но успокаивал себя тем, что мое время непременно придет.

Не знаю, был ли insult тетки Валерии прямым результатом моей поведенческой неадекватности, но реализовывать свои скрытые намерения я начал после того, как она в один прекрасный день начала видеть на каждом шагу подслушивающие устройства и людей в черном. Травить анекдоты по вопросам текущей политики, равно как и хохмить вообще, было при ней рискованно, ибо она тотчас же набрасывалась на смельчака, как стервятник на падаль. Это, конечно, не мешало ей продолжать проводить параллели между мной и свиным рылом, однако делало гораздо более уязвимой, чем раньше.

Отец к тому времени уже жил у женщины, с которой познакомился на пляже, и, не обращая внимания на скандалы, устраиваемые матерью, звонил сестрицам по телефону общего пользования, установленного в прихожей. Верный своей манере коверкать родной язык, он начинал с приветствия «Салютвичек!». Однако на сей раз мне что-то стукнуло в голову позвонить ему, и, услышав в трубке его голос, я радостно и под довольный хохоток Валерии гаркнул:

– Салютвичек!

Чувствуя каверзу, папаша ответил осторожно:

– Салют!

Я изобразил чеканный голос, создавая тем самым обстановку тревоги, и в «тональностях» сериалов про спецслужбы сказал:

– Звоню по поручению твоей сестры, которая, как должно быть тебе известно, является резидентом в нашем квадрате...

– Проклятый идиот! – заорала Валерия. – Что ты несешь?..

– Она просит передать тебе, что обстановка накаляется с каждой минутой и, возможно, уже к вечеру начнется поиск крайних, – продолжал я в той же манере.

– Замолчи сейчас же! – продолжала кричать тетка и запустила в меня толстенным томом «Крошки Доррит».

– В этих экстремальных условиях, – продолжал я наставлять папашу, ловко увернувшись от фолианта, – она настоятельно рекомендует переходить на резервные пароли. – Не волнуйся, – попытался урезонить я Валерию: – Если и посадят, то ненадолго. Я устрою тебя отдельную камеру. Там у тебя будет проигрыватель. Ты будешь внимать божественным минарам.

Но Валерия уже нагрелась до точки невозврата. Кричала, топала ногами, называла меня попеременно шизо, приблудой и ублюдком, а потом вдруг схватила за горло и начала судорожно ловить ртом воздух, оседая на пол, я же расте-

рянно бегал по комнате и махал руками.

...Вернулась Валерия спустя месяц. Голос ее был такой же резкий, возражений она по-прежнему не терпела, называла меня суконным рылом, только вот играть больше не могла. Левая рука не подчинялась...

3

Когда аргументы не действуют, остается либо утрашить, либо послать. Но ребенок, похоже, был сделан из железа, потому как не только не собирался сдаваться, а, напротив, начал даже проявлять нечто похожее на драчливость.

– Вот я скажу Исидору Степановичу, что, выступая под знаменами его избирательной кампании, вы дурачили публику, которой он обещает служить словом и делом. Вам не заплатят за выступление и выгонят с работы. Он – мой дядя, между прочим...

Это уже походило на шантаж, и надо было договариваться.

– Ну, и чего же ты хочешь? – спросил я.

Она смотрела совсем уж хамски:

– Мороженого... Я люблю крем-брюле.

Я перевел дух. Могло быть хуже. Этот ребенок, похоже, не знает себе цены.

– Что ж, пошли в кафе...

– Хорошо. Но я хочу только крем-брюле и три раза в день. Вы меня будете встречать после школы в половине первого, после магазина, в половине четвертого, и после садика, откуда я забираю свою сестренку в семь вечера.

Нет, похоже, она все-таки себе цену знала.

– Как тебя звать?

– Ксюша.

– И в кого ты такая нахалка, Ксюша?

– А у нас в семье все нахалы, начиная с дяди Исидора.

– Как ты можешь говорить такое об уважаемом человеке? – фальшиво возмутился я.

– Это вы про дядю Исидора?.. Его не уважают, а боятся, потому что если он кого погонит с фабрики, то работы не найти, ибо безработица в поселке уже достигает двух с половиной процентов от экономически активного населения. Посмотрите только, как стремительно падает на фабрике рентабельность производства! Почему? Да потому, что в отличие от руководителей других птицефабрик края он ничего не сделал для реконструкции основных цехов. А ведь даже неосведомленному в экономике человеку ясно, что давно следует заменить устаревшее, построенное еще в советские времена энергохозяйство, эксплуатация которого непосильным ярмом лежит на себестоимости продукции, а это, в свою очередь, самым отвратительным образом влияет на цену готовой продукции, делая ее неконкурентоспособной на местном потребительском рынке.

Я смотрел на нее, как на лунный камень.

– Откуда тебе это известно?

– Мне многое известно, в том числе и то, что вы периодически изменяете своей гражданской жене...

Это было уже слишком!

– Слушай, детка, а не дать ли тебе по шее?

– Получите пинок в пах. Ну, полно трепаться, дядя, по-

шли в кафе...

В кафе Ксюша чувствовала себя как в родной стихии (я даже начал подозревать, что был не первым, кто подвергся ее шантажу), умяла три порции крем-брюле и готовилась потребовать четвертую, когда я заметил, что неплохо было бы оставить место для семичасового похода вместе с сестренкой. Подумав, она ответила, что калорийность крем-брюле невысока и насытится им практически невозможно. Однако в моих словах рациональное зерно, безусловно, есть. Моя гражданская жена, вне сомнения, жестко контролирует кошелек мужа и наверняка заподозрит незапланированные расходы, поскольку сразу же заметит отсутствие хлеба, молока и картошки, не купленных мной по причине непредвиденных трат на мороженое, хотя соответствующая задача передо мной ставилась еще утром.

Относительно жесткого контроля она, конечно, крепко загнула, тем не менее я принялся соображать, как вести себя дальше. Обычные приемы, используемые мной при встрече с противником – фальшивое обаяние, напускная лихость, и самоуверенность, – это удивительное создание, похоже, не воспринимало, и следовало искать нетрадиционные методы воздействия.

Она жила неподалеку, в небольшом бревенчатом теремке, огороженном высоким забором, местами обитом жестью, содранной с металлической тары. Такие теремки для нашего поселка, выстроенного для работников птицефабрики и

потому совершенно безликого, как всякая инфраструктура, были типичны. Осенью вокруг собиралась непролазная грязь, зимой наметались непроходимые сугробы, и тогда я испытывал особую ностальгию по совсем другим домам и улицам.

У кособокой калитки стояла женщина, подчеркнута некрасивая, будто природа задалась целью сделать ее отталкивающей. В первую очередь обращали на себя внимание ее пронзительные глаза, вонзавшиеся, как две рапиры, нанизывая на клинки по самый эфес. Они довольно неуклюже сидели над крючковатым носом, чуть ли не сразу переходившим в тесаный подбородок с большой пунцовой бородавкой. Все это взятое вместе было ужасно нелогично и непропорционально, а твердые как пакля волосы цвета полыни, коротко стриженные и открывавшие не по-женски мощную шею, лишь усиливали впечатление, что перед тобой продукт глупой импровизации.

– Нас уже ждет твоя мама, – заметил я, горя от нетерпения спихнуть это сокровище в другие руки.

– Это не мама, – ответило «сокровище», – а ее знакомая, лауреат международного конкурса пианистов, и ждет она не меня, а вас. Она тоже была на встрече с дядей Исидором, поскольку собиралась послушать его треп, но после вашего трепа ей больше ничего не хотелось слушать, и она выразила желание немедленно познакомиться с вами.

У меня кольнуло под ложечкой.

– Почему же ты тогда направила меня в кафе, а не сразу к ней?

– У каждого свой интерес.

– Кто из тебя вырастет, если ты сейчас такая меркантильная?

– Не ваше дело, – парировала она и, обратившись к этому пугалу, сказала уже тоном послушного ребенка: – Тетя Вероника, – перед вами дяденька Подхомутов, одна из достопримечательностей нашего поселка.

– Ты мне льстишь, – скромно заметил я.

– Она права, – заметила тетя Вероника неожиданным колоратурным сопрано, составляющим разительный контраст с ее внешностью. – Такое не всякий раз встретишь. Вас в пору в музеях демонстрировать.

– Восковых фигур? – полюбопытствовал я, придав и лицу, и голосу как можно больше наивной невинности и невинной наивности.

Пропустив это мимо ушей, она продолжала разглядывать меня, как диковинку из кунсткамеры.

– Я впервые встречаюсь с подобной профанацией... Вам не стыдно?

– Стыдно чего?

– Так обманывать людей?

– А вам никогда не приходило в голову, что иногда люди желают быть обманутыми?

– Чем, той абракадаброй, которую вы сегодня барабани-

ли?

– Что в этом худого?

– И вы еще смеете спрашивать?.. Так испакостить великое творение!..

Я продолжал изображать непонимание.

– Можете считать это моей Фантазией на темы Шопена. Есть же Вариации на тему Шопена у Рахманинова. Почему же их не может быть у Подхомутова?

Тут, кажется, я хватил через край.

– Вы либо идиот, либо провокатор, – прошипела она, побелев от бешенства.

– Предпочитаю все-таки первое, это безопасней— заметил я в ужасе от того, что мои образы не срабатывают.

Она мерила меня взглядом, где презрение и ненависть уживались с радостью первооткрывателя.

– Нет-нет, я ошиблась, вы не просто провокатор, вы – жулик, и я намерена уничтожить вас. Такой цинизм прощать нельзя.

Сказав это, она, не простившись, скрылась в доме, а Ксюша, напомнив, что наша следующая встреча в семь часов вечера, послушно пошла следом.

Оставшись один, я погрузился в грустные размышления о превратностях судьбы, и хотя все сказанное этой мегерой было более чем справедливо, я чувствовал себя до предела уязвленным.

Не скрою, как и подавляющее большинство людей, я тщ-

славен, а в том, что касается музыки, тщеславен непомерно. В поселке я окружил себя небольшой группой поклонников и поклонниц, вернее поклонниц и поклонников, которых периодически дурачил, вставляя в Шопена и Листа самого себя, и вовсе не из желания обогатить классиков, а потому, что не знал исполняемые мною сочинения от начала до конца.

Мои выкамаривания неизменно воспринимались фонтанами восторгов и крокодиловыми слезами оттого, что я украшаю птицефабрику, а не Карнеги-холл. Ответом были потупленный взгляд и многозначительное молчание, и хотя меня всего, конечно, распирало, тем не менее я всякий раз тщетно давал себе слово не зарываться, но выкамаривания каким-то чудесным образом сходили мне с рук. Я продолжал слыть маэстро и творческой личностью, слава моя в среде местных дам бальзаковского возраста росла так стремительно, что я поверил в это сам, в результате потерял бдительность и теперь надо мной собирались тучи, которые следовало немедленно разгонять.

С ксюшиным шантажом я справлюсь, хотя и не без труда, а вот с этой Горгоной все будет гораздо сложнее. Она, похоже, принадлежала к той породе людей, которые идут напролом, без оглядки, бездумно сметая все, что стоит на пути, отвергая компромиссы, даже если это стоит им разбитых лбов и мятых судеб. Я бы мог представить ее вышибалой в кабаке, ответственной из Горгаза, надзирательницей в женской колонии, пришелицей из сопредельного мира – кем угодно,

только не пианисткой.

Хотелось бы слышать, как эта бой-баба с ручищами молотобойца и физиономией, будто специально созданной для съемок отечественных фильмов ужасов, сыграет ноктюрн, который в последние годы был неотделим от меня, как мой треп от моей правды. Пусть я его выворотил, подверг вивисекции и хамски наспиговал совершенно чуждыми фрагментами, но то, что там осталось от Шопена, было сыграно мной достаточно тонко, и у меня были серьезные сомнения по части того, что тонкость такого уровня по силам страшилам, даже если они и лауреаты.

Я сказал как-то (а здешние доброхоты сразу же постарались превратить мои слова в афоризм), что у каждого Красавцева должен быть свой Подхомутов. Считая должность пресс-секретаря директора птицефабрики холуйской и унижительной, я, тем не менее, местом своим дорожил и терять его не намеревался, а потому готов был драться за него до последнего. Если всесильный Красавцев узнает, что я вытворил, да еще на встрече с избирателями, и если об этом прослышит его соперник на выборах Серафим Хрупкий – независимый кандидат и предприниматель, освоивший в районе производство клюквы в сахаре, – то у хомута были все шансы стать еще и подпругой. При одной мысли о разоблачении у меня на лбу выступала холодная испарина, а ноги сами по себе принимались отплясывать жигу, будто на них действовал скрытый вибратор.

Я видел только одну возможность укротить агрессора –
влюбить ее в себя.

4

Мои отношения с отцом, никогда не отличавшиеся особой сердечностью, после перенесенного Валерией инсульта стали почти отчужденными. Он теперь обращался ко мне лишь в случае крайних необходимостей, каковыми были главным образом вручение денег, передаваемых матери мое содержание, и решение вопросов, связанных с квартплатой, которые в специфических подхомутовских условиях были настолько сложными, что даже в домоуправлении в бессилии разводили руками. Правда, при этом папаша не чурался периодически называть меня «недоразумением», а однажды и вовсе «гирей на ноге». На это я заметил, что не просил производить меня на свет, а он потупил голову, как делал всякий раз, когда попадал врасплох, и спросил в крайнем раздражении:

– А ты уверен, что на свет тебя произвел я? – и тут же смолк, как в свое время умолкали, когда с губ ненароком срывалась политическая ересь.

Но шкаф уже открылся, и скелет наконец выглянул. Слухи о моем происхождении в семейке кружили не переставая, а Холерин изощрались в придумывании гадких слов, которыми не уставали называть мою мать.

– Ты хочешь сказать, что я не твой сын?

Этот вопрос я задавал мысленно тысячи раз, но только

сейчас осмелился его произнести. Отец распахнул окно и долго рассматривал птиц на тополе, росшем перед балконом.

– Я жду...

– Всему свое время, – сухо бросил он.

На том и кончилось, хотя правильнее было бы сказать началось, но развития не последовало, поскольку в моей голове начало звучать, и я знал, что если перетряхивание семейного бельишка продолжится, звуки прекратятся, а они в ту минуту были для меня гораздо важнее.

Я уже говорил, что в музыкальной школе меня перспективным не сочли, но, покинув ее стены и освободившись наконец от ненавистной мне муштры гаммами, канонами и полифонией, я вдруг почувствовал интерес к фортепиано и начал слышать музыку.

Свою музыку!

Это вышло совсем неожиданно и на первых порах ошеломило меня: поначалу возникали только крошечные несвязанные мелодийки, потом они начали превращаться в конкретные темы, которые я пытался развивать, бездарно подражая тому, что несло из проигрывателя тетки Валерии. Я уединялся, если такое было возможно в том бедламе, котором был наш дом, и нашлепывал пальцами по груди то, что слышал. Все это было банально и пошло, тем не менее у меня появилось нечто вроде своих этюдов, прелюдий, музыкальных моментов... Я это, конечно, не записывал, да и желания у меня такого не было, не говоря уже об умении. Мне боль-

ше нравилось создание и внутреннее слушание, и даже не столько создание, сколько фантазирование, чаще всего на темы услышанного. Если я пытался воспроизвести свои фантазии, то делал это я на все том же «шкафе с посудой» под недовольные реплики Валерии, которая в полной тоске от начавшей сохнуть руки не уставала рассуждать о самовлюбленной черни, которая пытается влезть в различные духовные состояния. Тогда я еще не сознавал, какие возможности сулят эти духовные состояния, а понял совершенно случайно, оказавшись в компании подобных себе прыщавых акселератов, каждый из которых из себя что-то изображал.

Началось с того, что какая-то девица вдруг вперила в меня кофейные глазки и томно прошептала:

– Мне сказали, что вы играете...

Я растерялся и ответил, что это несерьезно.

– Сыграйте, пожалуйста... – пошли настаивать «глазки».

Играть мне было нечего. Репертуарный портфель пустовал, а выученное в музыкальной школе было хорошо забыто. В лихорадочном соображении, как быть, я вдруг вспомнил про восхитившую меня свой тонкой, как паутинка, фактурой Поэму Скрябина фа диез мажор, которую услышал однажды по прямой трансляции из концертного зала. Тогда я сел за «шкаф с посудой» и принялся импровизировать под Поэму, не обращая внимания на ненавистный взгляд Валерии, которая к тому времени – к моему счастью! – уже потеряла и дар речи. И вот теперь, вняв просьбе «кофейных глазок», я на-

чал воссоздавать эти построения. Акселераты почти не слушали, но «кофейные глазки» позже сказали проводить ее, а у дома, пользуясь покровом ночи, впились в меня губами и попросили потрогать, что и было сделано с проворностью гораздо более скромной, чем та, что я проявил, импровизируя под Скрябина.

После двух-трех подобных представлений я сделал едва ли не судьбоносный для себя вывод, что основная масса народа, во всяком случае та, что окружала меня, либо вообще не знает классической музыки, либо знает ее очень плохо. При этом та же масса очень боится прослыть невежественной и, если уж оказывается в положении, где надо сделать вид, что ты не верблюд, стремится произвести впечатление знатока, причем чаще всего тонкого, в чем мне довелось убедиться уже в обществе зрелых и искушенных людей, которые просили меня что-нибудь изобразить. Они, конечно, просили поиграть, только я не столько играл, сколько именно изображал, высоко вздымая голову, ложась на клавиатуру и картинно размахивая руками. Делалось это осознанно, поскольку люди, которые не в состоянии отличить профессиональную игру от дилетантской, а то и просто от халтуры, воспринимали это как проявление высокого мастерства исполнителя. Изображал я, конечно, собственные импровизации, создавая на ходу и выдавая отсебятину за Брамса или Листа, а сам чувствовал себя мастером иллюзий. После каждой очередной липы раздавались аплодисменты, я картинно кланял-

ся и опускался на табурет для нового подлога.

После того, как парад фальшивок закончился, ко мне подошла благообразная дама – из тех, о которых говорят, что они уже, но все еще, и, почти по-матерински обняв меня за плечо, сказала шепеляво и чувственно: «Прекрасно, молодой человек, но Брамса вам все-таки играть не следовало. Вы до него еще не созрели». В ответ я скромно кивнул, но сообразил при этом, что благодаря своим подделкам сумею легко овладевать женскими сердцами, компенсируя этим неумение драться, природную неуклюжесть и прочие недоданные мне Создателем качества, формирующие облик настоящего мужчины.

Меня не смущало, что я лгу. Создают же, к примеру, фальшивых Сезанна и Моне, почему же тогда не может быть фальшивого Брамса?.. Учиться было уже поздно, зато я мог бы пользоваться подделками, преследуя другие интересы, и как знать, возможно, даже материальные.

Нет женщин недоступных, есть отсутствие воображения. А поскольку желание быть завоеванной у прекрасного пола в крови, надо лишь верно определить то, что называется индивидуальным подходом, что не всегда ясно сильному полу, который почему-то чаще всего предпочитает любовую атаку, в двух третях случаев – особенно если цель атаки особа с завышенными самооценками – завершающуюся фиаско.

Арсенал неисчерпаем.

Среди особо эффективных – образ романтического героя. Он замечательно срабатывает, например, при осаде поэтического сердца, страдающего от непонимания зануды – мужа, пестующего ответственную должность, что, конечно, возвышает его в собственных глазах, но почему-то при этом дает право без конца поучать всех и вся и в первую очередь жену. Очень помогает и имидж талантливого, не понятого обществом неудачника. Особенно полезен он при работе с незамужними волевыми особами, чей нерастроченный материнский потенциал часто толкает их на разные безумства, после чего они каются, но только до того, как встретят очередного невостребованного, готового склонить голову на их груди. При работе с психопатками требуется проявление волевых качеств, дабы подавлять истерики в корне, что действует почти безотказно. После второй неудачи истерики обычно

прекращаются, а психопатки становятся шелковыми. Труднее с объектами безвольными, которые почему-то склонны проявлять волю именно в амурных делах. Но тут наибольшую отдачу сулит метод от противного, когда тому, кто осаждает, удается доказать, что он уже вышел из того возраста, когда женщин завоевывают из спортивного интереса, и теперь мечтает о настоящей большой любви, о чем «крепость в осаде», кстати, тайком и вздыхает, смотря южноамериканские сериалы и читая женские романы.

Мои наибольшие успехи на этом фронте были связаны главным образом с офицерскими женами, уставшими от скалозубства и мечтающими о небе в алмазах. Скажу больше, мне удалось почти невозможное – завоевать экс-майоршу, стоматолога Машку, которую безнадежно вожделеет три четверти мужчин нашего поселка, и только потому, что вовремя сообразил, чего ей хочется больше всего. Она обладала феноменальным бюстом, служившим визитной карточкой нашему поселку, как Парижу Эйфелева башня. Но если знаменитое сооружение просто дерзко смотрит в небо, то Машкины башни, имея, конечно, свойство агрессивно напирать на пациентов, иногда все же вздымались, причем едва ли не перпендикулярно к плоскости подбородка. Это происходило, когда она выпускала глубокий вздох. А вздыхала Машка оттого, что, по ее разумению, была окружена хамами, не способными оценить ее возвышенную душу.

Сами хамы мечтали о кариесе и пародонтозе, как грезил

бы о льдине белый медведь, окажись он каким-то чудом где-нибудь на экваторе. Дергание зубного нерва воспринималось ими как праздник, как небесная манна, как благословение Господне... Главврач нашей поликлиники только на стоматолога не молился, поскольку она множила восторженные отклики хворых, с лихвой покрывавшие жалобы на остальную часть медицинской братии. По существу, Машка добилась феноменального эффекта, когда зубоврачебное кресло, навещающее обычно ужас, начинало вызывать чувство глубокого удовлетворения, и только потому, что бюст врача, сверлившего зуб, нежно касался щеки пациента.

Я же был и вовсе в экстазе, поскольку Машка лечила мне зуб мудрости и потому вынуждена была наклоняться особенно низко, отчего мне довелось наслаждаться не только осязанием, но и обонянием... не говорю уже о зрении.

– Не вертитесь, – сказала мне Машка.

– Слышу музыку, – ответил я и сплюнул.

От неожиданности Машка врезала мне сверлом в нерв. В другой ситуации я бы взвился до потолка, но сейчас выдержал испытание, будто это было нежное щекотание пяточки.

– Чего?

– Музыку, говорю, слышу.

– Какую музыку?

– Свою.

– Ты что, композитор? – спросила она и прекратила сверлить. У нее была манера всем тыкать. Этим она лишний раз

давала понять, как презирает всех, кто ее окружает.

– Что-то вроде, – ответил я, воспользовавшись передышкой.

Она вновь прошла сверлом по нерву, но я даже не дернулся, поскольку был полностью поглощен созерцанием восхитительного ущелья между агрессивными сопками.

– Первый раз вижу живого композитора. Сплюнь...

– Впечатляет? – прогнусавил я.

– Не очень. С виду такое же чмо, как и все остальные, – пожалала она плечаи, но бормашину остановила.

– Приходится иногда прибегать к камуфляжу, чтобы не выглядеть белой вороной. Могут не понять.

– Это верно, – согласилась она, забыв об очереди в коридоре. – А какую музыку сочиняешь?

– Разную. В основном для фортепиано.

На мгновение она замолчала, выбирая, видимо, какую тактику избрать со свалившимся на голову композитором, и выбрала самую простую.

– А послушать можно? У меня пианино есть...

Ее грудь начала колыхаться, а потом медленно поползла вверх, что, повторяю, доводилось видеть только избранным, но о чем мечтали все те, кто были способны восхищаться этим явлением.

– Почему бы и нет? – сказал я, едва найдя силы, чтобы что-то сказать. – Нынче редко встретишь такую женщину, как вы.

Говоря это, я имел в виду, конечно, формы, однако способность к восприятию содержания в границах здравого смысла у этого создания находилась в обратной зависимости к размеру бюста, и оттого мои слова она поняла как признание ее глубокой духовности и стремления к возвышенному. Дело было сделано!

Жила она в трехэтажном панельном мешке, которыми наш поселок утыкан, как гвоздями войлок, который служил ложем Рахметову. Однако при этом у нее было раритетное пианино, доставшееся в наследство от деда, и старинный музыкальный табурет, который она не отдала майору, деля имущество при разводе. Просто села на него, когда воин уходил, и все. Правда, тот особенно и не настаивал, довольный тем, что она наконец добровольно уступила вождеденный им набор штофов из какого-то там стекла.

На этот стул я и сел, начав изображать. Это была обычная ахиня, которую я сопровождал страстным вздыманием головы, когда музыка достигала предельного напряжения, и патетическим лицом. Но краем глаза все же видел, что Машка водрузилась на диван как-то слишком уж скользко – высоко забросив ногу на ногу и демонстрируя кружевное белье цвета бедра испуганной нимфы.

– Как это называется? – хрипло спросила она.

– Сонатина соль минор, – ляпнул я первое, что пришло в голову.

– Восхитительно! – воскликнула она и принялась рассте-

гивать халат.

Увидев наконец в натуре ее легендарные груди, я вдохновился до такой степени, что, не снимая ноги с педали, лихо барабанил полнейшую чушь, одновременно наслаждаясь восхитительным зрелищем освобождения от бельевых вериг.

– Это мой этюд ми минор, – с придыханием пояснил я. – Из цикла «24 этюда в стиле Шопена».

– Иди сюда! – жарко воскликнула она.

Я уже был исполнен силы минотавра и готов был смять эту роскошь, как вдруг послышались сигналы «скайпа», после чего на экране компьютера появилась зареванная, неопределенного возраста особа и, не обратив внимания, что на ее собеседнице нет ни тряпочки, а рядом – все еще одетый мужик, принялась замогильным голосом рассказывать про то, как в ветеринарной клинике кастрировали ее любимого кота.

У меня было такое состояние, будто кастрации подвергся не кот, а я, что до Машки, то она почему-то участливо внимала натуралистическим подробностям оскопления.

Я ушел, тихо закрыв дверь.

На следующее утро она позвонила на мой мобильник и сказала, что хочет послушать остальные этюды. «Других этюдов», конечно, не было, но поскольку проблемой это не было тоже, я лишь выразил надежду, что хирургическое вмешательство в мою личную жизнь мне не грозит. В ответ она обещала выпивку.

Так мы стали жить вместе.

Она оказалась на редкость удобна. Появился наконец кто-то, на кого можно было свалить быт, который угнетал меня с каждым разом все больше. И у этого кого-то была своя двухкомнатная квартира, что для нашего «курытника» было большой редкостью. Дам с жилплощадью давно расхватали, а эта вакансия таковой оставалась лишь потому, что пресытившаяся майором Машка упорно искала «принца».

То, что она увидела его во мне, было еще одним доказательством ее непроходимости, чему, кстати, я был только рад, поскольку благодаря «24 этюдам в стиле Шопена» и прочей дичи непревзойденный бюст надежно перешел в мою собственность. Она не уставала с благоговением мне внимать, и чем пошлее были мои надругательства, тем сексуально требовательней она становилась. Соседям через тонкие стенки можно было только посочувствовать, ибо сокрушающий гром «Этюдов в стиле Шопена» (их число уже перевалило за сотню) и Машкины экстатические вопли могли сделать невыносимо острым любое коммунальное блюдо.

Но что меня привлекало в ней больше всего, так это отсутствие собственнических инстинктов. Она была патологически неревнива. Ее подружки могли вешаться мне на шею, страстно лобзать при встрече, и она совершенно спокойно наблюдала за этим, пропуская мимо ушей их авансы, а мимо глаз обольстительные позы, которые они принимали. Как-то одна из подруг, засидевшись у меня на коленях, даже полю-

бопытствовала:

– Ты не ревнуешь?

– Могу одолжить, если хочешь, – пожала плечами Машка. – Только потом верни на место.

Одолжить себя я, конечно, не позволил, понимая, что портить масть до конца все-таки не стоит, но в долг взял сам, явившись однажды под утро со следами туши и коньячными испарениями. Машка так и не поинтересовалась, где я был, и это было воспринято мною как индульгенция, хотя греха, по моему разумению, я не совершал.

У меня, признаюсь, по такому делу есть даже что-то вроде философии. Я глубоко убежден, что Господь, сказав, не пожелай жены ближнего своего, поставил меня в затруднительное положение. Во-первых, был я не у жены... ни ближнего, ни дальнего. Во-вторых, по части жен дальних Господь вообще никаких указаний не давал, а потому точнее формулировать свои мысли надо и Творцу, дабы не вводить в заблуждение рабов своих. А раз Всевышний умудрился так запутать совершенно очевидное, то чадам его тем более не следует забивать себе голову тем, что не пришло на ум даже Богу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.